



Алексей Юрчак. *Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение.* М.: НЛО, 2014. 664 с.

Сверхидея исследования, легшего в основу книги, состояла в попытке объяснить причину того, что казавшаяся прочной советская цивилизация распалась легко и неожиданно. При этом свою задачу автор книги видит в реабилитации («регуманизации») советского человека. В качестве аналитического инструмента для препарирования позднесоветской реальности Юрчак предлагает идею перформативного сдвига. Кажется, замеченные автором особенности функционирования советской символической системы лучше объясняются в рамках теории произвольности знака. Еще одна специфичная черта авторского подхода заключается в выборе объекта исследования: собирательный герой книги — ленинградец с высшим техническим образованием, рассматривающий ВЛКСМ как возможность реализации своих карьерных амбиций. К сожалению, русский перевод книги, вышедший почти через десять лет после публикации англоязычного оригинала, не учитывает новейшие исследования по проблеме. Тем не менее выход книги на русском позволит познакомиться с этой работой более широкому кругу читателей.

Ключевые слова: советское общество, распад советской системы, теория речевых актов, перформативный сдвиг.

В любой сфере академического знания существует свой список обязательных работ для чтения или, во всяком случае, цитирования. Для специалистов по постсоветским социальным и культурным трансформациям в течение уже десятка лет такой список включает книгу Алексея Юрчака “Everything Was Forever, Until it Was No More: The Last Soviet Generation” (Princeton University Press, 2005). Некоторые в своих работах принципиально на нее не ссылаются, для других она вошла в число ритуальных ссылок — во всяком случае, работа эта значительная. В конце прошлого года эта книга вышла на русском языке.

Писать рецензию на книгу, которая, во-первых, фактически была опубликована десять лет назад, а во-вторых, известна каждому исследователю, кто занимается постсоветскими штудиями культурологического порядка, — предприятие сомнительной ценности. Рецензии пишутся либо на новые книги, чтобы представить их потенциальным читателям, либо на полемические. Оживленная полемика по поводу книги состоялась после ее выхода на английском языке; несмотря на критику, порой жесткую, монография была удостоена ежегодной премии им. Уэйна Вучинича АСВЕИ

Жанна Владимировна Кормина
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург
kormina@eu.spb.ru

(Ассоциации славянских, восточноевропейских и евроазиатских исследований) как внесшая самый важный вклад в исследование этих регионов гуманитариями в 2006 г. Иными словами, для рецензии должна быть иная, дополнительная, причина, и она имеется: когда читаешь эту книгу, даже порой не соглашаясь с выбором сюжетов, интерпретациями, теоретическими построениями, часто ловишь себя на мысли — а ведь во всем этом есть что-то, побуждающее читать про некрореалистов и слушать советский рок, пересмотреть «Ассу» и «Мне двадцать лет» — что-то, что может возникнуть, пожалуй, только в автоэтнографическом тексте, обладающем дополнительной силой убедительности.

Тем не менее главное чувство, которое вызывает книга, — это грусть. Грустно еще раз подумать о том, что даже самые интересные работы в области гуманитарного знания быстро устаревают — кажется, чем актуальнее они были в момент своего рождения, тем бесповоротнее. Хотя автор и пишет в предисловии, что русский вариант книги — не перевод, а новая авторская версия, это совсем не ремейк. В книге практически не учтена новая литература по предмету, и глупо было бы за это критиковать (сам автор совершенно справедливо отмечает, что «постоянно добавлять материалы к уже написанной книге является занятием избыточным и ненужным» (С. 282)); книга состоялась тогда, в 2005 г., став частью истории, томом на полке классики постсоветских исследований.

На поиски собственного объяснения крушения СССР Алексея Юрчака, как он сам объясняет, подтолкнуло преобладающее в тот момент в постсоветологических исследованиях гиперкритическое отношение к социализму (Юрчак называет это «бинарной моделью социализма» (С. 38)) как миру абсолютного зла. Он видит в этой искаженной картине отголосок колониальной европоцентристской (уточним: западно-европоцентристской) точки зрения. Советский субъект в этих исследованиях предстает как лишенный голоса и собственно субъектности, а единственными советскими людьми, за которыми признается такая субъектность, оказываются антисоветчики-диссиденты. Они, кстати, автору откровенно несимпатичны, поскольку их деятельность способствовала демонизации советского режима в глазах «Запада». Свою задачу Юрчак видит в реабилитации советского человека (сам он называет это «регуманизацией» (С. 48)). Советский человек в период позднего социализма, который автор ограничивает смертью Сталина и началом перестройки, не был безмолвной жертвой режима, как не был он и циником, ведущим двойную жизнь (искренний в кругу друзей — лицемерный на партсобрании). Напротив, он являлся органичной частью советской

системы, дающей возможность полнокровной и счастливой жизни.

В первой главе «Поздний социализм. Советский субъект и неожиданность обвала системы» очерчивается объект исследования — «не причины, по которым советская система обвалилась, а те принципы функционирования, которые сделали ее обвал одновременно возможным и неожиданным» (С. 35). Обвал советской системы, говорит автор, не был неизбежным, он произошел в результате определенного, в общем-то случайного, стечения обстоятельств, но если бы система не была внутренне готова к такому повороту событий, обвала бы не случилось¹. А произошел он потому, что «всеобщее участие в воспроизводстве точной формы языка и ритуалов способствовало появлению внутри советской системы огромного числа новых, неожиданных идей, смыслов, видов существования, которые постепенно сдвигали весь дискурсивный режим системы изнутри» (С. 79).

Если все иллюстративные части книги написаны ясным, живым языком, то ее первые две теоретические главы могут показаться читателю тяжеловесными. И несмотря на то что основная идея работы кратко повторяется в каждой главе, часто одними и теми же словами, ее смысл по мере продвижения к концу книги не открывается читателю вполне или открывается не каждому. Попробуем разобраться в теоретических основаниях работы.

Советское государство было таким же государством современного типа, как западные демократии с присущими им противоречиями, а именно парадоксом идеологии. Суть парадокса состоит в том, что «между идеологическими высказываниями современного государства и его идеологической практикой существует неизбежный разрыв» (С. 48–49). Для собственной легитимации государство обращается к истине, понимаемой как объективная и стоящей вне и над идеологией, которая не может ни оспорить ее, ни объяснить, почему она верна. В этой конструкции существует еще «господствующая фигура» правящего субъекта, который встроен в этот дискурс, но при этом обладает объективной истиной, т.е. внеположен дискурсу. Функция «господствующей фигуры» состоит в «постоянной публичной оценке» высказываний «в авторитетном дискурсе» на предмет их соответствия канону марксистско-ленинской исти-

¹ Любопытно, что в книге не упоминается о понятии системы, в самом деле использовавшемся в обиходе определенной частью советской молодежи в 1980-е гг., — той системы, о которой пишет Татьяна Щепанская, — местном варианте культуры хиппи, где практиковались коучинг (вписки) и автостоп, существовавшей так, будто никакого государства / системы нет.

ны (С. 74). Когда такая фигура исчезает, несоответствие между политической практикой и идеологией становится очевидным и вся политическая система может погрузиться в кризис.

Для США подобная истина выражена в Декларации независимости (все люди созданы равными и наделены Творцом неотъемлемыми правами т.п.), для советской системы такой истиной был постулат о возможности и неизбежности построения коммунизма. Иными словами, западный политический проект предстает в книге как охранительный и ретроспективный, советский — как футуристический. Сначала, пишет Юрчак, роль господствующей фигуры играл русский авангард, находившийся вне идеологического дискурса, со второй половины 1920-х гг. эта роль перешла к Сталину, а после его смерти в 1953 г. позиция господствующей фигуры элиминируется, что приводит к трансформации «структуры советского идеологического дискурса» (С. 52): он перестает обновляться и переходит в режим создания бесконечных копий уже существующих текстов.

Не совсем понятно, как русский авангард мог играть роль «господствующей фигуры» в советском дискурсе: какими были механизмы публичной оценки, скажем, Кандинским или Хлебниковым «высказываний» на предмет соответствия канону марксистско-ленинской истины и, что еще важнее, какими были механизмы влияния авангарда на реальную политику? Кажется, в 1920-е гг. такая истина не была сформулирована: социалистический канон складывается позднее, во всяком случае после смерти Ленина. Добавлю, что даже с точки зрения простой логики весь спектр художественной жизни Советской России, а с 1924 г. — Советского Союза, который принято называть русским авангардом, трудно представить единообразным мнением «субъекта».

Далее, в момент утраты «господствующего субъекта», т.е. после смерти Сталина, идеология (понимаемая автором как «описание реальности, которое можно оценить как верное или неверное» (С. 52)) превращается в «авторитетный дискурс», особенность которого в том, что он воспринимается аудиторией как единственно возможный. Итак, идеология сменяется авторитетным дискурсом, но вскоре мы узнаем: «чтобы подчеркнуть эту трансформацию в контексте позднего социализма, мы будем впредь называть дискурс советской идеологии авторитетным дискурсом» (С. 55). Жаль, что автор нигде не дает намека на то, как читателю следует понимать, какое значение вкладывается в понятие дискурса. Непроясненным остается и соотношение между авторитетным дискурсом и идеологией: все-таки авторитетный дискурс — это «дискурс советской идеологии» или это постидеология (что бы это ни значило)?

Вообще дискурс в книге приобретает собственную субъектность: он «застывает» «на уровне формы», у него есть «перформативная составляющая смысла» (С. 72) и т.п. И он подозрительно неизменен, аисторичен, если не на протяжении всей советской истории, то в позднесоветское время определено. Приходится отметить, что теоретическим формулировкам книги свойственна некоторая тяжеловесность: «несмотря на неизменность и повсеместность авторитетного дискурса, в нем все больше ощущались разрывы и нестыковки — в частности, на биологическом уровне символа» (С. 502) (здесь идет речь об одряхлении и частых смертях «высокопоставленных лиц из партийно-государственного руководства»). «Перформативный символ воображаемого Запада» (С. 386) тоже выглядит странно. Может быть, некоторая непрозрачность формулировок объясняется трудностями перевода и, возможно, недостаточно тщательной редакторской работой. Видимо, аналогичны причины досадных погрешностей текста вроде выражения «советская реальность предстает намного амбивалентнее», сообщения о том, что Марину и большинство ее одноклассников приняли в комсомол в 12 лет (С. 182) (хотя в сноске на той же странице написано, что это происходило в 14), или именованная основоположника критического дискурс-анализа Норма Фэркло Норманом Фейрклавом (С. 141, сн. 98).

Понятие перформативности усложняет основную идею книги и делает ее, как мне кажется, непрозрачной. Основываясь на теории речевых актов Дж. Остина и разнообразных комментариях к этой теории (Деррида, Джудит Батлер, Фуко, Бурдьё), Юрчак предлагает в качестве аналитического инструмента для препарирования позднесоветской реальности идею перформативного сдвига: советские люди участвовали в «воспроизводстве ритуализованных актов и высказываний» (например, ходили на демонстрацию или голосовать), но не умели или не хотели усваивать запечатленные в них идеи (констатирующую составляющую дискурса). В результате рождались новые смыслы и формы существования, которые государство «не предвидело и увидеть или осознать которые до конца не могло» (С. 77).

Мне стало более понятно, что именно имеет в виду автор, когда пишет о перформативном сдвиге, после того как я пересмотрела клипы рок-группы «АВИА» (Алексей Юрчак был ее менеджером в конце 1980-х гг. (С. 495)). Созданный в 1985 г. и существовавший совсем недолго, этот проект отличался от всей прочей ленинградской рок-тусовки. Это был проект своего времени, эпохи перестройки, едва ли не более театральный, чем музыкальный. Его шоу были построены на пародировании обобщенной «советской» парадной речи и визуальной эстети-

ки: музыканты группы одевались в белые рубашки и черные костюмы с черными же галстуками, что должно было у публики, носившей турецкие джемпера и «вареные» джинсы, вызывать ассоциации с хорошо им знакомыми комсомольскими функционерами (вскоре такой стиль будет ассоциироваться только с юными мормонскими миссионерами из Америки). В каждой композиции группы важную, если не центральную, роль играла женская массовка в черных же комбинезонах и белых рубашках, пародирующая раннесоветское «пространство ликования» — крепких физкультурниц, делавших пирамиды на парадах. Лица музыкантов и артистов оставались бесстрастными, как и полагается в хорошей клоунаде: они демонстрировали отстраненность исполнителей от содержания текстов (*дискурса*), которое было узнаваемо советским и при этом последовательно-бессмысленным:

Будет гром фанфар, будет солнца жар.

Время навсегда замрет.

Зацветут сады и растают льды.

Из болот вода уйдет.

(АВИА, «Колыбельная», 1986 г.)

Однако и такой эмпирический или, если хотите, генетический аргумент в пользу теории перформативного сдвига меня как читателя все равно не убеждает. Мне кажется, что замеченные автором особенности функционирования советской символической системы лучше объясняются в рамках теории произвольности знака. Позволю себе в этой связи небольшую автоэтнографическую зарисовку. В детстве мне каждый день приходилось проходить мимо транспаранта, установленного между школой и автобусной остановкой по нечетной стороне улицы Ленина. Написанное на нем красными буквами рукой местного художника-оформителя я, едва научившись читать, прочла как «Решения хэхэу съезда — в жизнь». С годами буквы подновлялись и в тексте появлялись дополнительные изображения — сначала I, а потом II. Им не находилось приблизительного соответствия в русском языке, как нашлось для V, и хотя я уже умела разбирать римские цифры, лозунг по-прежнему читался как абракадабра: «Решения хэхэу кхэ-кхэ съезда в жизнь». Эти слова оставались пустым знаком — вернее не-знаком — кажется, не только для меня, но и для взрослых. Нельзя сказать, что этот лозунг ничего не значил: он, как теперь сказали бы, маркировал мое село как часть советского государства. Но читался ли он так моими односельчанами или пассажирами проезжающих мимо автобусов? Серьезно сомневаюсь: как убедительно показал Леви-Строс, наше мышление базируется на логике бинарных оппозиций (без знания о черном не может быть понятия о белом), и люди, для которых су-

ществование других политических систем не является актуальной частью опыта (пусть воображаемого, через знание истории, например), не воспринимают идеологические по своей природе сообщения как таковые и, более того, не существуют в сфере политического. В отличие от вывесок «Магазин» или «Школа», вообще-то избыточных (всем и так понятно, где — магазин, а где — школа), этот транспарант не указывал на стоящий за ним полезный физический объект и не сообщал полезную информацию (название села, например). Так что когда его перестали подновлять, он пришел в негодность и куда-то исчез — чего никто не заметил. Улица Ленина сохранила свое название, так же как в массе других российских сел и городов — что далеко не обязательно является доказательством силы пережитков советского строя, скорее — того, что название не читается как идеологическое. Как пишет основоположник семиотического анализа Чарльз Пирс, знак не функционирует в качестве знака, если он не воспринимается как знак.

Иными словами, кажется, что своими рассуждениями о перформативном сдвиге на самом деле автор хочет рассказать своему просвещенному читателю другую историю — о произвольности знака. Одно и то же означающее (если мы признаем, что имеем дело со знаком) может получать новое означаемое в результате изменения конвенций относительно его интерпретации или получать множественные означаемые. Между прочим, необыкновенная популярность мастеров художественного слова — сатириков в конце 1980-х — начале 1990-х гг. объясняется как раз их игрой на изменении смыслов конвенциональных знаков и умножении возможностей их интерпретаций.

Любопытно, что, хотя автор книги — антрополог и вышла она в серии «Антропология» издательства «Новое литературное обозрение», в ней не используется основной антропологический метод, отличающий эту дисциплину от братских, — а именно этнография¹. Работа построена на серии интервью с представителями последнего советского поколения — родившимися между серединой 1950-х и началом 1970-х гг. Строго говоря, все эти интервью, взятые в середине 1990-х, являются воспоминаниями о конце советского времени, главным образом о 1980-х гг. Эти воспоминания (устная история), как и другие интересные документы личного характера (в частности, серия писем, посланных юношей из провинциального города своему переехавшему в Ленинград другу), требуют того, что историки

¹ Предисловие к книге, написанное Алексеем Беляевым, докторантом Калифорнийского университета в Беркли, того самого, где работает Алексей Юрчак, озаглавлено оправдательно: «Взгляд антрополога на книгу Алексея Юрчака», что, вероятно, должно означать, что все другие, писавшие рецензии, не были антропологами и потому не сумели адекватно оценить эту работу.

называют критикой источников. Они диалогичны по своей природе, поскольку возникают в процессе репрезентации говорящего (или пишущего) своему слушателю или читателю. К сожалению, ничего не сказано о ситуациях интервьюирования, причинах, по которым рассказчики захотели поговорить с исследователем о своем недавнем советском прошлом. Была ли у них в середине 1990-х гг., когда проводилось исследование, ностальгия по советской юности? Как сложились их биографии? О чем они хотели умолчать? А если о чем-то говорили с воодушевлением, то по какой причине? Ответы на все эти вопросы кроются в контексте интервью, для читателя, к сожалению, оставшемся скрытым.

Хотя заголовок книги обещает рассказ о последнем советском поколении, на самом деле речь в ней идет о весьма специфической группе советской молодежи. Собирательный герой книги — ленинградец с высшим техническим образованием, рассматривающий ВЛКСМ как возможность реализации своих карьерных амбиций. В книге есть и другие «голоса», но главный герой — этот. Причем мы не узнаем, из какой он семьи и есть ли у него своя семья; его жизнь составляет работа или учеба. Между тем весь этот социальный контекст очень существен. Важно уже то, что Ленинград — город, находящийся рядом с границей. Многие его жители имели прямой или опосредованный доступ к «западной» жизни через заграникомандировки знакомых или родственников — моряков заграничеплыва, знакомство с обучающимися здесь иностранными студентами, финскими туристами и, наконец, поездки в прибалтийские республики, которые всегда были «советским Западом». Практически любой школьник советского времени бывал, скажем, в Таллине на экскурсии выходного дня. Этот опыт, так же как музыкальные, эстетические предпочтения, существенно отличался от жизни молодежи внутренних областей Советского Союза и тем более — национальных республик. Иными словами, эта книга — об особой группе ленинградской молодежи, имеющей или получающей высшее образование и карьерно ориентированной (поэтому было бы особенно интересно узнать, как же складывались карьеры этих амбициозных людей в новой, несветской, системе).

В главе 3 «Идеология наизнанку» рассказывается о воспроизводстве идеологии руководителями низового уровня — первичных комсомольских ячеек (комсоргов классов, студенческих групп) — и следующей ступени в комсомольской иерархии — освобожденными секретарями (теми, кто получал зарплату за свою комсомольскую работу). Автор указывает на то, что комсорги балансировали между «чистой профформой», требуемой для отчетов вышестоящим в комсомольской иерар-

хии организациям, и «работой со смыслом» и что «формальное выполнение поручений играло важную перформативную функцию, создавая ресурсы и предоставляя условия для работы со смыслом» (С. 204). На самом деле здесь рассказывается о некоторых стратегиях, использовавшихся комсоргами для преодоления конфликта между своей принадлежностью комсомольской иерархии, признаваемой не всеми их товарищами, и эгалитарному коллективу сверстников. Им приходилось балансировать между демонстрацией лояльности и своему начальству, и своим товарищам по школе, институту и т.п., без поддержки которых они потеряли бы вес и в глазах начальства. Здесь же упоминается об отношении к диссидентам — людям подозрительным, странным и не вполне нормальным, а также о «нормальных людях» (термин автора), которые образуют особые сообщества, названные автором «публиками своих». Эти нормальные люди, главные герои книги, не были ни активистами, ни диссидентами, но именно они, полностью принявшие советскую систему, расшатывали ее устои за счет придания новых смыслов известным текстам и практикам. Позиции «внеаходимости» этих «нормальных» посвящена глава 4.

Само понятие «внеаходимость» заимствуется Юрчаком из ранней работы Бахтина, применившего его для анализа соотношения автора и героя внутри художественного текста: «согласно Бахтину, автор и герой не являются ни двумя независимыми друг от друга субъектами, ни единым неделимым субъектом». Юрчак переносит это теоретическое построение на анализ соотношения между авторитетным дискурсом (как бы автором текста) и субъектом (как бы героем), чтобы еще раз сказать, что этот субъект и был автором дискурса, создающим новые смыслы внутри советской реальности.

Это построение на умозрительном уровне выглядит убедительно, но применить его к анализу реальности, по-моему, не удастся. Дело в том, что как идеологический дискурс, так и варианты его интерпретации, вероятно, обладают качеством полифоничности. Трудно себе представить один вариант нормы или единственную публику «своих», интерпретировавших авторитарный дискурс одним образом. Вероятно, таких публик было много: в той же рок-тусовке публика «Гражданской обороны» явно отличалась от публики «АВИА». И сам идеологический дискурс не был застывшей лавой, он был живым и изменялся. В самом деле, в конце 1950-х, например, в публичном пространстве появляется этнический традиционализм с его антимодернизмом и идеями национальной исключительности. Эта политика ретроспективного поворота имеет и своих идеологов, и массовую поддержку с освоением новых специфических практик, в частности волонтерское участие в реставраци-

онных работах на объектах культурного наследия. Массовая одобряемая государством форма существования этого движения — Общество охраны памятников — действительно со временем становится формой мертвой, где членство сводится к уплате ежегодного взноса, но во всей этой истории много жизни и динамики. Были и другие повороты и интерпретации «идеологического дискурса», поддерживаемые различными публиками. Хороший пример — волна революционного романтизма среди комсомольской молодежи, вылившаяся, в частности, в известное коммунарское движение того же позднесоветского времени.

Перечисляя «формы внаходимости», автор бегло упоминает ленинградский Дворец пионеров с его литературным и археологическим кружком (кстати сказать, в экспедиции, насколько я знаю от знакомых археологов, не «ходят» (С. 276), а «ездыт», «ходят» в походы), физиков-теоретиков, публику кафе «Сайгон», музыкальную тусовку, котельные, в которых работали творческие индивиды, чтоб добыть минимальное пропитание и не быть обвиненными в тунеядстве, которое преследовалось по закону. Автор подчеркивает, что существование таких свободных от идеологического дискурса анклавов (все они опять-таки находятся в Ленинграде) «иллюстрировало внутреннюю парадоксальность системы, в которой государство выступало спонсором занятий или видов существования, которые оно не предвидело и которые подчас даже противоречили его авторитетным высказываниям» (С. 304). Он говорит также, что эти люди не были аполитичными, как заявляли, но они понимали политику иначе — как политику не «ясных» (вроде марксизма-ленинизма), а «глубоких» истин (С. 310). Тут, правда, возникает потребность в том, чтобы автор пояснил, что предлагается понимать под «политикой».

В главе 5 говорится о воображаемом Западе. Самые интересные очерки внутри этой части — о том, как западная музыка и одежда транслировались и усваивались в СССР. Эта тема продолжается в главе 6 «Разноцветный коммунизм», посвященной мощному агенту иностранного влияния на позднесоветскую молодежь — западной музыкальной рок-культуре. Действительно, пластинки популярных групп покупались на черном рынке, переписывались за деньги или у друзей бесплатно и участвовали в образовании социальных сетей, объединенных разнообразными законами неформальной экономики. Умение разбираться в рок-музыке создавало молодому человеку репутацию в среде сверстников, а знание имен исполнителей и названий групп становилось даже чем-то вроде тайного языка, понятного только посвященным. Любопытно (и жаль, что эту особенность не отметил автор), что осведом-

ленность в области рок-музыки считалась обязательной культурной компетенцией для юношей, но не для девушек. Здесь нужна еще одна оговорка: разная молодежь слушала различную музыку; далеко не все юноши слушали “Deep Purple” и “Pink Floyd”, но выше я уже упоминала, что книга написана не обо всем советском поколении, а о его небольшой и особенной части. Думаю, литовские или грузинские, украинские или таджикские ровесники героев Алексея Юрчака воспринимали слом системы совсем иначе — да и сами системы в их случаях, вероятно, отличались от российской.

Глава седьмая «Ирония вменяемости» рассказывает о различных художественных инициативах позднесоветского времени, таких как объединение ленинградских «Митьков» и группа некрореалистов; а также стеб, садистские стишки, названные почему-то «стишками-страшилками», в которых автор увидел «иронично-агрессивную интерпретацию перформативного сдвига» (С. 496), советская геронтократия (и ее высмеивание) и анекдоты. Здесь же приводится анализ интересного этнографического документа — своеобразного поздравительного адреса, сделанного членами комитета комсомола одного из ленинградских НИИ к тридцатилетию секретаря их организации. Этот анализ, пожалуй, выглядел бы более убедительно, если бы был помещен не в культурологический интерьер, состоящий из некрореалистов, «Митьков» и Пригова, а в ряд аналогичных документов — поздравительных адресов к юбилеям, которые были типичны для своего времени. Такие *адреса* — своеобразный вид народного творчества — в советское время готовили своим коллегам по работе, чтобы поздравить их с личными датами вроде того же тридцатилетия. Сочиняя текст и продумывая общую эстетику таких поздравлений, их безымянные авторы помещали общий для них и героя поздравления рабочий контекст в поздравительный адрес, который обязательно был шуточным, и использовали при этом подручный материал. Анализируя этот документ, автор хочет показать, что его основные герои — циничные профессиональные комсомольцы — являются гражданами одного с «Митьками» и некрореалистами пространства вменяемости по отношению к системе, которую они в этом адресе пародируют. Хотя, кажется, они используют элементы этой системы просто потому, что она создает их рабочие места (так же учителя упомянут в поздравительном адресе школу и учеников, медсестры и врачи — свою больницу, а офицеры — воинскую часть или род войск).

Анекдоты — еще один случай «пространства вменяемости», упоминаемый в монографии. Я не являюсь специалистом по анекдотам ни в этнографическом смысле (это мужская narra-

тивная компетенция), ни в академическом, так что здесь мои рассуждения носят общий характер. Читателю трудно поверить, что частота рассказывания анекдотов в постсоветское время сократилась, потому что «времени на это просто не было» (С. 541). Ведь человек, как известно, существо нерациональное; для «этого» — чистой коммуникации — у него всегда находятся и время, и повод. Может быть, резонно предположить, что наряду с культурой коммуникации изменился и коммуникативный контекст передачи анекдотов: я имею в виду, в частности, перевод многих форм коммуникации в интернет. Дальше, говоря о советском анекдоте, Алексей Юрчак делает вывод о том, что, слушая и рассказывая анекдоты, советские люди подтверждали сами себе, что были такими же «нормальными», как все вокруг, «то есть относились к авторитетному дискурсу соответствующим образом», а именно высмеивали его. Кажется, так оно и было, но ведь не все анекдоты были политическими; осмелюсь даже предположить, ориентируясь на собственный опыт пассивного участника анекдотных сессий, большинство из них не были политическими. Непросто и согласиться с утверждением, что анекдоты вместе с другими «пространствами внаходимости» и «убили» Советский Союз в результате постепенного смещения отношений между субъектом и социальной системой: «Как это ни удивительно, именно «юмор, который перестал бороться», оказался наиболее эффективным механизмом, незаметно готовящим кризис системы» (С. 552).

Вероятно, как любое революционное изменение, распад советской системы был и предсказуемым, и неожиданным, и трагическим, и оптимистическим. Для кого-то, может быть, он был даже не особенно заметным. В любом случае, в этой истории не все ясно, многое еще предстоит понять. Хочется надеяться, что публикация книги Алексея Юрчака на русском языке послужит стимулом к появлению новых исследований по истории позднесоветского периода России, что будут поставлены новые вопросы и применены иные, неожиданные, схемы для осмысления этого времени. И пусть хорошие книги переводятся на русский язык — это трудная и важная работа, за которую и Алексея Юрчака, и издательство «Новое литературное обозрение» можно только поблагодарить.

Жанна Кормина

Review of Alexei Yurchak, *Eto bylo navsegda, poka ne konchilos. Poslednee sovetskoe pokolenie* [Everything Was Forever Until It Was No More: The Last Soviet Generation]. Moscow: NLO, 2014. 664 pp.

Jeanne Kormina

National Research University Higher School of Economics

Soyuza pechatnikov str., 16 St. Petersburg

kormina@eu.spb.ru

This review considers the Russian translation of Alexei Yurchak's monograph *Everything Was Forever Until It Was No More* (Moscow, 2014). The main idea of Yurchak's research is to explain why Soviet civilization, which seemed so unshakable, fell apart so quickly. In his search, Yurchak turns to the realities of the late Soviet period. He frames his mission as the rehabilitation, or "rehumanization" of the Soviet person. He argues that during the period of late Socialism, the Soviet person was neither a wordless victim of the Soviet regime, nor a hypocrite. On the contrary, the Soviet system provided the Soviet person with opportunities to live a happy and meaningful life. Yurchak suggests the idea of performative shift, as a way to analyse late Soviet realities. He argues that while Soviet people participated in performances of ritualized actions and statements, they did not internalize the ideological messages embedded in these performances. As a result, new meanings and forms of being Soviet were born, which the state could not anticipate or fully understand. Yet, it seems that the peculiarities of how the Soviet symbolic system worked could be better explained in the framework of the arbitrariness of signs. According to this theory, the same signifier can receive new designatum or have multiple designata as a result of changing conventions concerning its interpretation. The group under investigation is one more specific feature of this anthropological volume. Although his work has been represented as a story of the last Soviet generation, Yurchak writes about a quite specific group of Soviet youth. The main protagonist of this work would be a person living in Leningrad with a higher education in engineering, who considers the Komsomol to be a vehicle for his social mobility. Although there are other voices represented in this work, this is the main character. Unfortunately, the Russian translation of the book, which was published in English almost ten years ago, does not include new research published on the topic. Yet the publication of this volume in Russian will provide it with a wider audience.

Keywords: Soviet society, fall of the Soviet system, speech act theory, performative shift.